

УДК 821.161.1

БЕДНЫЙ ПЛУТ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОТОТИПА И АКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ В ПОВЕСТИ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «ПОХОЖДЕНИЯ ШИПОВА»

М.А. Александрова (Нижний Новгород, Россия)

Аннотация

Постановка проблемы. Повесть Окуджавы, недооцененная первым поколением интерпретаторов и заново открытая современным литературоведением, представляет особый исследовательский интерес как парадоксальное заострение вопроса о милосердии к падшему.

Цель статьи – осмыслить соотношение образа Шипова с историческим прототипом и со значимым для автора литературным типом «маленького человека», чтобы на этом основании охарактеризовать своеобразие статуса персонажа в художественном мире Окуджавы.

Обзор научной литературы по проблеме. Возможность анализа образа в избранном ракурсе подготовлена работами Е. Клепиковой, А. Цуркан, М. Назаренко, С.С. Бойко, а также отдельными тезисами Ю.М. Лотмана.

Методология. Используются описательный и герменевтический методы, сравнительный анализ.

Результаты исследования. В статье показано, что Окуджава, построивший фабулу повести на реальных фактах жандармского «дела Толстого», отказался от целого ряда черт прототипа заглавного персонажа. Это обусловлено следующими аспектами художественно-философской концепции повести: 1) символизацией маргинальной фигуры; 2) возведением мытарств плута в ранг универсальных человеческих проблем; 3) прозрением «братской» связи между антиподами – великим человеком и ничтожнейшим из ничтожных. Воссоздавая фантазмагорию политической слежки за Львом Толстым, Окуджава переносит внимание с вредоносной функции секретного агента на его собственную уязвимость перед государством. Психология социальной ущербности, свойственная прототипу, преобразуется в тоску «маленького человека» по прочности бытия.

Выводы. Императив милосердия обусловил переосмысление прототипа Шипова. Потенциал метафорического расширения, заключенный в понятии «маленький человек», дает ключ к художественной антропологии Окуджавы.

Ключевые слова: Булат Окуджава, гротеск, фантазмагория, прототип, исторический документ, «дело Толстого», трикстер, «маленький человек», художественная антропология.

Постановка проблемы. Повесть «Похождения Шипова, или Старинный водевиль», озаглавленная в журнальной публикации «Мерси, или Похождение Шипова» (1971), для первого поколения интерпретаторов оказалась текстом трудным. Настоящим камнем преткновения стал заглавный персонаж, прототипом которого послужил участник политической слежки за Львом Толстым. Хотя историки давно изучили парадоксы «дела Толстого» (1862) и роль в событиях реального Шипова, появление секретного агента на страницах повести

трактовалось как авторская «неразборчивость в выборе средств, героев и ситуаций» [Меженков, 1972, с. 197]. В глазах процитированного критика вину Окуджавы усугубляло «подражание» сомнительному образцу – роману «Мастер и Маргарита»; то был голос «собрата Латунского», глубоко травмированного недавней публикацией великой книги [Бойко, 2013, с. 193]. Но ценитель булгаковского шедевра [Золотусский, 1976, с. 45–57] и песенной лирики Окуджавы [Там же, с. 60] тоже негодовал, отказываясь понять, ради чего выстроен сложный художественный мир с Шиповым в центре: «Ради того, чтобы доказать нам, что царская охранка занималась липовыми делами? <...> И что вообще все эти полицейские и агенты – “слуги дьявола”? Господи, какая провинциальная мысль!» [Там же, с. 60]; «И ради нее <...> пародируется документалистика, пародируется фантастика и “мистика”», а в итоге Шипов, «прямо как у Булгакова, превращается не то в черта, не то в ангела, взлетающего на небеса под крики изумленной охраны (собирающейся везти его на каторгу) и в назидание одураченной им полиции. Очень смело!» [Там же, с. 61]. Неприемлемо для И.П. Золотусского само присутствие Шипова и прочих эксцентричных фигур «вблизи Толстого» [Там же, с. 62], в общем художественном пространстве.

Другие литературные критики оправдывали выбор Шипова в качестве фигуры сугубо служебной. Изобразив Толстого не напрямую, а в системе кривых зеркал – корыстных вымыслов секретных агентов и фантастических жандармско-полицейских умозаключений, Окуджава показал, что «сам факт и характер существования этого человека <молодого Толстого> выводят из равновесия политическую жизнь империи» [Гордин, 1975, с. 204]. Сыщик, запутавшийся в своих жалких играх с начальством, доводит до абсурда бесплодную работу государственной машины, которая заведомо не властна над олицетворенной в Толстом истинной жизнью [Оскоцкий, 1980, с. 191–193]. Такой подход продуктивен до известного предела, поскольку ни Я.А. Гордин, ни В.Д. Оскоцкий не учитывают поэтику заглавного образа. На артистическое удовольствие, художническое «гурманство», с которым Шипов нарисован, своевременно обратила внимание только Е. Клепикова [1976, с. 35–37].

Когда настало время осмысления общих закономерностей творчества Окуджавы, повесть была заслонена романной трилогией «Бедный Авросимов» – «Путешествие дилетантов» – «Свидание с Бонапартом». Г.А. Белая в окуджавской главе монографии «Литература в зеркале критики» (1986), переработанной затем в предисловие к двухтомнику прозы поэта (1989), упоминает «Похождения...» бегло; связь с историческими романами, чье действие «концентрируется вокруг крайне серьезных событий, связанных с восстанием декабристов» [Белая, 1986, с. 207], установлена через образ Льва Толстого – личности, живущей (подобно всем любимым героям Окуджавы) «по самым высшим законам»¹ [Там же, с. 217]. Шипов здесь даже не назван – хотя бы ради сравнения с «маленьким человеком»,

¹ Г.А. Белая использует формулу из рассказа Окуджавы «Промоксис» (1965).

причастным к судьбе Пестеля; эта параллель, актуальная для текущей литературной критики [Клепикова, 1976, с. 36; Хотимский, 1979, с. 497; Оскоцкий, 1980, с. 191], на этапе обобщений показалась, видимо, частностью.

Суммируем факторы, затруднившие адекватное истолкование повести в 1970–1980-е гг. 1. В ситуации «булгаковского бума» любая фантазмагория ассоциировалась с «Мастером и Маргаритой», что налагало печать вторичности на самобытные тексты («смешны попытки подражать Булгакову <...>, попытки писать в фантазмагорическом духе, чередуя реальную жизнь с чертовщиной» [Золотусский, 1976, с. 57]). 2. За полтора десятилетия литературной известности Окуджавы сформировалась инерция ожиданий: создатель *московского муравья*, *бумажного солдата*, *бедного Авросимова*, живущих, вопреки своей «малости», *по самым высшим законам*, в «Похождениях Шипова» словно бы уклонился от магистрального пути, лишив читателей привычных ориентиров. Растерянность перед «странным» текстом сквозит и в первых постсоветских библиографических статьях об Окуджаве, где опыты исторической прозы представлены «декабристской» трилогией, а «водевильная» повесть скрыта за обозначением «и др.» [Кякшто, 1998, с. 136]. 3. Преимущественный интерес литературной критики к художественному познанию выдающихся личностей мешал признать, что ничтожная – особенно рядом с гением – фигура является «главным объектом изображения, а не более или менее замутненным магическим кристаллом, сквозь который видна эпоха» [Назаренко, 2008, с. 411].

Настоящее открытие «Похождений...» состоялось в последние годы. *Обзор современных исследований* выводит нас к постановке вопроса о статусе заглавного персонажа повести в художественном мире Окуджавы. А. Цуркан оспорила приписанное Окуджаве подражание булгаковской «чертовщине», проанализировав творческую рецепцию гоголевской «завуалированной фантастики», а также отметила трагедийный потенциал «водевильной» фигуры [Цуркан, 2004, с. 158–162]. М. Назаренко вместо привычного тезиса об исторической трилогии Окуджавы предложил концепцию тетралогии: «три трагедии объединены сквозным <историческим> сюжетом», тогда как в «Похождениях Шипова», выполняющих «функцию сатирической драмы», коллизия отношений человека с высшими силами (роком, историей, государством) разработана «в ином, комическом регистре» [Назаренко, 2008, с. 407]. «Похождениям Шипова» посвящен целый ряд статей С.С. Бойко, положенных в основу соответствующих глав монографии «Творчество Булата Окуджавы и русская литература второй половины XX века». Выявив документальные источники фабулы «Похождений...» и подробно рассмотрев гротескный характер реальных обстоятельств, исследовательница сделала важные для дальнейшего осмысления повести акценты. Во-первых, она подчеркнула большую – сравнительно с *бедным Авросимовым* – сложность образа Шипова [Бойко, 2013, с. 198]; во-вторых, отметила [Там же, с. 199], что спровоцированное плутней филера жандармское усердие уже сравнивал с *водевилем* и *фарсом*

историк, дополнивший и обобщивший разыскания о яснополянском обыске: «<...> первое крупное дело о Толстом <...> зрело, разрослось до размеров чуть ли не выдающегося государственного преступления и вдруг лопнуло мыльным пузырем, обнаружив *водевильную глупость* генералов охранителей, увенчанную бесчестным, полуграмотным, пьяным сыщиком “для карманных воришек” Михаилом Ивановичем Шиповым. Совершенно исключительной ролью Шипова в деле о яснополянском обыске объясняется то внимание, которое нам пришлось уделить этой темной личности», «не только колоритной, но и *загадочно-интересной*»² [Ильинский 1932, с. 375].

Специального обсуждения требует оценка заглавного персонажа «Похождений...» Ю.М. Лотманом. В статье «О Хлестакове» (1988) он упомянул окуджавского Шипова как пример убедительного воплощения «психологии социальной ущербности» [Лотман, 1997, с. 680]; именно в ней исследователь видел общую основу поведения разнообразных авантюристов XIX в. – специфических плутов, веривших в собственные фантазии и заражавших этой верой сильных мира сего. Ранее, в 1972 г. (т.е. вскоре после журнальной публикации «Похождений...») Ю.М. Лотман передал Окуджаве через общую знакомую «Тезисы докладов IV Летней школы в Кяэрику» со своей статьей «О семиотике понятий “стыд” и “страх” в механизме культуры», сопроводив ее следующей надписью: «Прошу рассматривать эту статью как предисловие к еще не написанному письму о Ваших исторических повестях» [Сонкина, 2016, с. 101]. Состоялось ли такое письмо – неизвестно, но само намерение позволяет считать, что читательские впечатления о «Похождениях Шипова» повлияли на концепцию статьи «О Хлестакове».

Соотнеся два высказывания Ю.М. Лотмана, можно реконструировать его логику сближения Шипова (литературного персонажа, а не прототипа) со знаменитым Романом Медоксом, который долго водил за нос самого императора Николая Павловича, обещая раскрыть связи ссыльных декабристов с их тайными сообщниками в кругах высшей аристократии. Разжалованный из офицеров после нескольких дерзких преступлений, Медокс был хорошо образован, даже в тюрьме и нищенской жизни ссыльного сохранил некоторый светский лоск, что позволяло ему входить в доверие к высокопоставленным особам и поддерживать общение с сибирскими изгнанниками. Шипов – бывший дворовый человек, способный вообразить себя равным графу Толстому только в пьяных мечтах, а потому не смеющий даже приблизиться к объекту жандармской «разработки». Что же у них общего, почему «напрашивается сопоставление» [Лотман, 1997, с. 680]? Носитель психологии социальной ущербности – вне зависимости от ее конкретной почвы – практически не знает такого переживания, как *стыд*, будучи внутренне отчужден от обладателей развитого морального сознания: «Регулирование стыдом <...> показатель высшей организации» [Лотман, 2000, с. 665]. Униженный маргинал подвержен элементарному *страху*.

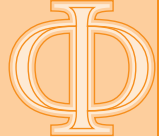
² Курсив здесь и далее наш. – М.А.

Временно блокировать регулятивную функцию страха может соблазн самоутверждения, потребность компенсировать собственную ущербность; тогда бесстыдный становится отважным, вдохновенным – и убедительным в своих самых фантастических измышлениях (как Медокс и Шипов). Оправданность предложенного Ю.М. Лотманом сравнения предстоит выяснить в ходе достижения конкретных *целей анализа*: необходимо уточнить соотношение образа Шипова с прототипом и со значимыми для писателя литературными моделями.

Результаты анализа текста базируются на следующих принципиально важных положениях. «Дворянин с арбатского двора» [Окуджава, 2001, с. 393] – поздний представитель «аристократической линии русской литературы» [Хазагеров, Хазагерова, 2005, с. 298–312]; сущность этой традиции – стоицизм, идея чести, неизменность критериев благородства вопреки переменам идеологической моды. Этнос шестидесятнической (интеллигентской) «аристократии» был выработан в кругу достаточно узком; к нему применим лотмановский тезис о стыде как признаке высшей организации. В то же время Окуджава мыслит себя одним из многих, голосом большинства, выживающего то на войне, то в дни *тревожного перемирия* (как будет сказано в позднем его романе). Интеллигент признает своим двойником «маленького человека». Об универсальности самосознания *малых сих* писала Л.Я. Гинзбург: если для гуманиста прежних времен «маленький человек» являлся «предметом отчужденного сострадания», то в XX столетии он стал «выразителем всех – больших и малых, глупых и умных, умудренных и малограмотных», испытавших нищету, бездомность, полицейский запрет, повседневную смертную угрозу [Гинзбург, 1989, с. 285].

Именно тот, кто на собственном опыте познал человеческую уязвимость, призван быть милосердным: «Я чувствую себя последним богом, // единственным умеющим прощать» [Окуджава, 2001, с. 278]. Казалось бы, нельзя проникнуться состраданием к секретному агенту, измышляющему все новые подробности неблагонадежности поднадзорного лица. Однако в мире Окуджавы невозможное происходит.

Автор по-своему интерпретирует сведения о служебном положении Шипова-прототипа. Дореволюционные исследователи удивлялись, что следить за Толстым был приставлен уголовный филер низшего разряда. Позднее была выяснена связь агента с семьей шефа жандармов и главного начальника III отделения князя Долгорукова: на момент открытия «дела Толстого» Шипов значился бывшим дворовым человеком и временнообязанным Долгорукова-младшего; желая выделиться среди прочих исполнителей секретных поручений, он «не упускал случая пользоваться своим “высоким” званием» домашнего челядинца шефа жандармов, «спекулируя им везде, где было можно» [Ильинский, 1932, с. 381]. Эти колоритные черты прототипа в образе Шипова сведены к минимуму. Для Окуджавы более важен символический потенциал маргинальной фигуры, блуждающей по лабиринтам полицейского и жандармского ведомств.



Мотивам высшего начальника, избравшего Шипова для слежки за Толстым, писатель придал специфическую «семейную интимность»: шеф жандармов убежден, что наилучшее выполнение деликатного задания гарантировано личной преданностью сыщика благодетелю. Услужливость лукавого раба когда-то подкупила князя, и вот теперь владеющие им патриархальные иллюзии рожают химеры: новоназначенному секретному агенту приходится имитировать преданность, плутуя с таким размахом, какого в его прежней жизни не случилось. Кураторы сыскной операции испытывают шок при виде княжеского протезе: «Где вы раздобыли это чудовище? – спросил генерал»; «Почему охотник за жуликами должен соваться в жизнь графа Льва Николаевича? <...> Нет, я понимаю желание князя, но я в недоумении» [Окуджава, 1979, с. 299]. Им остается лишь предполагать известные шефу жандармов «особые, скрытые достоинства <...> агента» [Там же, с. 325], а самого агента регулярно пугать именем всесильного благодетеля. Так устанавливается сокровенная связь между государством и мелким филером. Возложенное на исполнителя бремя отнюдь не способствует мобилизации пресловутых «достоинств», которые в любом случае не удалось бы применить на практике: бессмысленно следить за Толстым, действующим прямо и открыто.

Поскольку «дело Толстого» рождено предубеждением высшей власти против странного тульского помещика (заводит школы для крестьянских детей, издает педагогический журнал, «к тому же и пишет, говорят» [Там же, с. 431]), активность плута главным образом поддерживает и лишь иногда ускоряет холостые обороты государственного механизма. Трепеща от смешанного чувства ослепительной удачи («такой взлет, который вчера и не приснился бы!» [Там же, с. 298]) и грозной опасности («Держись, Шипов!» [Там же, с. 299]), корыстный ловкач ступает на путь «маленького человека», обманщик становится жертвой тех, кто на него положился.

Покуда Шипов действует в пределах полицейского околотка, он уверен в себе, артистичен, витален (с одинаковой ловкостью дерется, ловит карманников, присваивая отобранные у них деньги, демонстрирует для собственного развлечения виртуозные лакейские приемы) и даже инфернален. Его сыскное чутье все признают непостижимым. Его зеленые глаза светятся в полутьме трактира; хозяину заведения чудится, что «над головой странного человека вспыхнуло и погасло сияние» [Там же, с. 285]; сами стихии ему подвластны:

Последняя лампа догорала в трактире.

Шипов шагнул к дверям. <...>

– Эх, – сказал хозяин, – куды ж вы в такую-то метель?

– А мы господу помолимся, – засмеялся Шипов и <...> вышел вон.

И метель тотчас же прекратилась.

– Свят-свят! – закрестился хозяин испуганно [Там же, с. 300].

Итак, охотник за мелкими жуликами – трикстерское пограничное существо, промысляющее под сенью официальной власти и в то же время независимо от нее. Но стоило Шипову приобщиться к делу «государственной важности», как он почувствовал себя мышкой в хищных лапах: «...Ах, вот и я мышка несчастная, <...> для вас кошка, а для них мышка-с...» [Там же, с. 294]; «Попалась, мышка!» [Там же, с. 343].

Загадочную силу Шипова словно бы перехватывает подручный – Амадей Гирос. Уже отмечалось, что младший в дуэте секретных агентов выполняет функцию беса-искусителя: безудержная ложь Гироса по поводу дружеских встреч с графом Толстым побуждает Шипова фальсифицировать донесения [Цуркан, 2004, с. 159]. Развивая и уточняя эти наблюдения, обратим внимание на нюансировку приемов изображения двух плутов. Первоначальная inferнальность Шипова выражена средствами «завуалированной фантастики», отчего странные ситуации могут получать двойное объяснение [Там же, с. 158–162]. Напротив, в структуре образа Гироса фантастический элемент получает определенность. Поначалу акцентирована лишь необыкновенная живучесть пройдохи, не получающего урона ни от мороза, ни от побоев. Затем выясняется, что он умеет надолго выпадать из реальности, причем сообщает об этом повествователь: «...Бежали дни. *Гирос все спал, <...> розовея, округляясь*» [Окуджава, 1979, с. 418]. Пробудившись после трехнедельного сна, Гирос безошибочно угадывает местонахождение Шипова, а тот прежде напрасно метался в поисках компаньона, повсюду встречая его подобия: «Господи, – испугался Шипов, – али меня нечистый водит?» [Там же, с. 335]. Жандармы, ищущие Гироса для ареста, тоже выходят на двойника, что удостоверяет здравомыслящий полковник Муратов [Там же, с. 434]. Пока Шипов пешком удирает от гнева начальства, Гирос разъезжает в погребальном катафалке под своим именем, но с чужим обликом: «В <...> гробу лежал старый человек <...> с розовыми щеками, словно разоспался» [Там же, с. 449]; тем самым предсказана реинкарнация мошенника в эпилоге. Комическая inferнальность неуязвимого Гироса оттеняет страдальческое положение Шипова, подверженно-го всем бедствиям мира сего. По старой памяти он может представить себя «в образе сатаны», соблазняющего «ангельскую» вдовушку («даже потянулся рукой к пяткам и нащупал копытца» [Там же, с. 386–387]), но это самоутешение делом не подтверждается: мнимый сатана заморожен ловкими трюками жандармского полковника, соперника в любви и в сыске.

Уступив Гиросу все демоническое, плут предстает гротескным воплощением *человеческого, слишком человеческого*: «Ваше высокоблагородие, человек свое всегда возьмет, а как же. <...> Это не воровство, не разбой, не грех, а природа. <...> Вы мне просто так отдать мое не хотите? Ладно, я вам, ваше высокоблагородие, письмо напишу по всей форме. Чтоб было вам приятно мне деньги отдавать...» [Там же, с. 355–356]; «Довожу до сведения Вашего Высокоблагородия, что многократные мои поездки в “Ясную Поляну” раскрыли мне глаза на тайные приготовления, которые ведутся в доме Его Сиятельства Графа

Льва Николаевича Толстого...» [Там же, с. 356–357]. Гомерические размеры вранья Шипова объясняются не дерзостью мошенника, которая была свойственна прототипу, а страхом лишиться единственного (после смены поприща) источника пропитания.

Стремление персонажа к сытости, теплу и прочим земным благам автор представляет как общечеловеческую жажду прочности бытия, поиск (выражаясь философским языком) «онтологической уверенности». Изначально Шипов способен страдать только от самих физических лишений; затем его накрывает тень «онтологического беспокойства»: «Что деньги делают с людьми! С ума сводят... А что безденежье? Еще хуже! *И не потому, что голодно, а потому, что страшно*» [Там же, с. 406]. По мере накопления таких эффектов Шипов все меньше походит на традиционных бессовестных авантюристов: ведь страх как регулятор поведения перестает связываться только с начальственным гневом. Растревоженный чем-то, что сам не мог бы назвать, плут лишается энергии, присущей его прототипу.

При первой возможности окуджавский Шипов укрывается в малом мире, повторяя заклинание: «Я вас не трогаю, и вы меня не трожьте...». Оторванный начальственной волей от московского пристанища (милого его сердцу жилья покладистой Матрены), Шипов пробует приютиться на новом месте, в Туле, и под любыми предлогами откладывает поездку в Ясную Поляну. Окуджава возводит в символ неудачу единственной попытки секретного агента добраться до предписанной ему цели. Когда Шипов все же пускается в дорогу, им овладевает смятение: «...что-то уже на душе было не так, какая-то тяжесть успела ее коснуться, какой-то неведомый крик копился уже в ее глубине» [Там же, с. 348]. Предчувствие страшного подтверждается ночным разгулом бесов. Автор от души потешился, наслав на Шипова говорящих волков³, но персонажу не до смеха, и с этих пор никакая сила не может выманить его из наскоро обжитого мирка: «Надо бы съездить в Ясную, – *подумал Михаил Иванович, дрожа.* – Посмотреть, как там, чего...» [Там же, с. 410]; «Эх, – подумал он, – а ведь надо было в Ясную съездить, надо было» [Там же, с. 460]; «А надо было съездить в Ясную!» [Там же, с. 471]. В разработке этого мотива Окуджава отталкивался от фактов из «дела Толстого». Комментируя документы за подписью секретного агента, историк стремился выявить рациональное зерно фантазмагии: «<...> как бы ни были фантастичны доносы Шипова на яснополянскую усадьбу, *психологически невозможно допустить*, чтобы их писал человек, никогда не бывавший в Ясной Поляне» [Ильинский, 1932, с. 388]. Напротив, Окуджава вполне допускает такую возможность, но устраняет даже намек на самоуверенность лжеца. «Отчет» Шипова о поездках в «логово заговорщиков» вдохновлен желанием никогда больше не подвергаться дорожной опасности и убежденностью пострадавшего в своем праве взыскать с начальства повышенный гонорар. Искренность этого желания (*человек свое возьмет*) создает у адресата иллюзию особого рвения секретного агента.

³ Автокомментарий к этому приему см.: [Окуджава, 2008, с. 175].

Все сказанное позволяет вернуться к лотмановской параллели между Шиповым-персонажем и Медоксом, чтобы ограничить ее правомочность одним общим свойством: это «хлестаковский» полет фантазии, компенсирующий ничтожество лгуна. Другие проявления психологии социальной ущербности роднят зловещую фигуру Медокса только с реальным Шиповым – весьма энергичным провокатором, каким он проявил себя еще до слежки за Толстым [Ильинский, 1932, с. 380, 381]. Медокс пускался в письменные рассуждения, выдававшие его злобную зависть к жертвам провокаций [Лотман, 1997, с. 679]; Шипов-прототип, будучи малограмотен, не оставил подобных текстов, но ресентимент как психологический стимул служебной активности вполне вероятен. Иное дело – заглавный персонаж «Похождений...»⁴.

Формально линия его обманного поведения соответствует фактам «дела Толстого»: подобно своему прототипу, он выманивает у начальства деньги будто бы на устройство типографии, предназначенной заинтересовать и тем самым изобличить яснополянских «заговорщиков». Но если типичный провокатор воистину бесстыден, то Шипов до самой кульминации не ведает, что творит, а его представления о графе остаются «умиленно-сказочными» [Клепикова, 1976, с. 36]. Растерянно наблюдая обыск усадьбы Толстого, Шипов мысленно взывает к оскорбленной сестре хозяина: «Эх Марья Николаевна, <...> казните меня, голубушка! *Да кабы я знал!..*» [Окуджава, 1979, с. 478]; «Ваше сиятельство, Мария Николаевна, *в душу загляните мою!*» [Там же, с. 481].

Итак, вредоносные фантазии Шипова подогреваются не ресентиментом, а желанием подействовать на воображение суровых начальников, заставить их расщедриться. Свои социальные амбиции он утоляет только «благородными» удовольствиями в духе памятного домашнего обихода князей Долгоруковых: ублажает себя едой, вином, переодевается в щегольской костюм («натянул клетчатые панталоны цвета беж, <...> надел коричневый сюртук из альпага, обшитый по бортам коричневою же тесьмой, взбил бакенбарды, и ринулся к зеркалу, и застыл перед ним с бьющимся сердцем при виде чудесного красавца...» [Там же, с. 409]). Прodelав все это, Шипов забывает о необходимости писать лживые отчеты для получения новых сумм: «Чего мне там, в Ясной-то, надо? – попытался вспомнить Михаил Иванович. – Чего? – И тут же вспомнил: – Да граф же Лев Толстой, господи! <...> А чего Толстой-то, чего? Чего я ему?.. Чего я должен?..» [Там же, с. 411]. Воспарение над реальностью (усугубленное, впрочем, пьяным загулом) превращает заочные отношения сыщика с хозяином Ясной Поляны в тесную семейную связь: деньги, получаемые от начальства, оборачиваются доходами с поместья, которые граф делит с «братцем», то ли троюродным, то ли двоюродным [Там же, с. 414, 421]. Конфликт, не имеющий шансов на разрешение, снимается в этой плутовской утопии вполне гуманным образом.

По мере приближения финала окуджавский персонаж все дальше от прототипа. Рассказывая о том, как реальный Шипов лично предстал перед высшими

⁴ Ю.М. Лотман, вероятно, контаминировал окуджавского Шипова с историческим прототипом.

жандармскими и полицейскими чинами для восстановления доверия, историк констатирует: «Делает это Шипов <...> не без таланта. С каждым новым допросом плоды его фантазии все обильнее. Чувствуется, как постепенно он заинтриговывает допрашивающих, в конце концов овладевая вниманием своего начальства вплоть до самого шефа жандармов Долгорукова»; «Шипов своего добился. Он заставил себе поверить и на некоторое время вновь возродился из праха» [Ильинский, 1932, с. 395, 397]. От целой серии допросов, увенчавшихся торжеством мошенника, Окуджава оставляет один эпизод – добровольную явку Шипова к московскому частному приставу Шляхтину. Не имея мистификаторской стратегии, секретный агент поддерживает себя надеждой, что система в нем все еще нуждается. Начинает он с осторожной попытки припугнуть низшего начальника своим покровителем («Ваше благородие, я ить из Петербурга только что... Их сиятельство князь...») [Окуджава, 1979, с. 456]), но выдержать этой линии не может («У-у-у, – подумал Шипов с ужасом, <...> ежели князь не поленятся, они меня согнут!..») [Там же, с. 458]), обороняется, ловчит из последних сил («Ах, да уж разом бы все...») [Там же, с. 460]) и в итоге с облегчением отправляется под арест: «Теперь можно было никуда не бежать, *ни от кого не спасаться*» [Там же, с. 461]. История временной реабилитации плута изложена в переписке высокопоставленных лиц, которые оказываются единственной активной стороной этого процесса: «дело Толстого» зашло так далеко, обнаружение истины нанесет такой удар по репутации жандармского корпуса и министерства внутренних дел, что все усиленно оберегают свою веру в призрачный яснополянский заговор.

Реальный Шипов охотно променял арест на роль «легавой» при жандармской экспедиции в Ясную Поляну: «Он сам должен был настойчиво предлагать себя в спутники» [Ильинский, 1932, с. 399], готовясь на месте придумать очередную плутню. Напротив, персонаж, включенный в команду полковника Дурново для выполнения тех же функций, что и прототип, оказывается кроткой жертвой, влекомой на заклятие. Очутившись в мире Толстого, он преображается в последний раз: теперь это дитя человеческое, чьи провинности подлежат только высшему суду. Шипов буквально впадает в детство, прячась от своих мучителей («ринулся прочь из зала, скатился с лестницы и оказался на дворе. Не теряя времени, он забежал за ближайшие кусты и упал в прохладную траву» [Там же, с. 478]), и остается ребенком в эпизоде воображаемого разговора с Толстым:

Он лежал в траве. Над ним медленно проплывали розовые утренние облака.

Граф Лев Николаевич Толстой в серой дорожной рубаше сидел на траве рядом. <...>

– А я, ваше сиятельство, к вам бечь собрался, – сказал Шипов. – Дай, думаю, добегу, где граф кумыс пьет, расскажу, что да как... Я все рассуждаю, в ножки бы упасть, прощения у вас просить, да ведь вы не простите...

– Отчего же нет? – засмеялся граф и *погладил Михаила Ивановича по голове*. – Чудно мне, ей Богу. Разве ты виноват?

– Не, не виноват, – откликнулся Михаил Иванович с благодарностью. – Рази ж это вина? Вы меня, ваше сиятельство, хоть на вилы подденьте, а по-другому я не мог <...>.

– Конечно, конечно, – согласился граф.

– Ежели б я господину полковнику Шеншину не докладывал, что у вас тут типография, они бы мне денег не слали. А куда ж без них? За квартиру вдове этой дай, Гиросу, прощелыге, дай, Матрене послать надо? Надо. Опять же сюртук из альпага, выпить-закусить, того-сего-десятого...

Граф тяжело вздохнул и *провел по соломенному хохолку Шипова* [Там же, с. 478–479].

Жесты великодушного собеседника подтверждают «детский» статус Шипова. В атмосфере сыскного морока человечность Толстого истинно чудесна – как прощение свыше. Тем самым подготовлено «вознесение» комического мученика в эпилоге, смущавшее только невнимательных читателей.

Осужденный на каторжные работы Шипов узнает в конвойном офицере оплаканного им Гироса, но бессмертный черт, которому всегда найдется выгодная роль среди людей, отрекается от бывшего напарника:

– <...> Чтоб ты сгинул, проклятый мошенник!..

И тут же арестантская шинель медленно сползла с плеч преступника, и все увидели, что на нем *клетчатые панталоны цвета беж и сюртук из коричневого альпага*, обшитый по бортам коричневой же шелковой тесьмой.

Каторжник слегка пошевелил руками, переступил едва заметно, и цепи, словно устав под собственной тяжестью, легко соскользнули на землю.

<...>

– Вот теперь хорошо, – сказал преступник. – Мерси... – И сложа на груди руки, вытянувшись весь, застыл на мгновение и вдруг начал медленно подниматься в воздух, все выше, выше и полетел легко и свободно, не меняя торжественной позы, с едва заметной благостной улыбкой на устах, озаренный пламенем заката, все выше, выше, пока не превратился в маленькую красную точку и не исчез совсем в сумеречном небе [Там же, с. 492].

Чудесное прекращение мытарств Шипова окончательно проясняет функцию сквозной портретной детали. Коричневый сюртук и клетчатые панталоны – отсылка к джентльмену-приживальщику из кошмаров Ивана Карамазова и к булгаковскому «клетчатому»; настойчивость вариативного повторения «цитатных» элементов облика Шипова [Там же, с. 403, 409, 413, 414, 416, 419, 422, 428, 437, 449, 455, 472] поддразнивает, но не дезориентирует читателя – при должном доверии к тексту, разумеется: персонаж Окуджавы противопоставлен знаменитым литературным чертям, а вовсе не дублирует их (как это показалось И.П. Золотускому и другим *торопливым судьям*). Комический мученик, ставший таковым

в результате нескольких преобразований, контрастирует с собою прежним, с классическим трикстером в ореоле демонизма, каким он впервые вышел на сцену. Напоминание о «свернутых» ходах – жест творческого самоутверждения писателя. Фактура документально-исторического материала идеально подходила для создания трикстериады, в том числе в духе московских походов свиты Воланда, но Окуджава последовательно уклонялся от этой возможности ради освоения – и обновления – иной литературной модели.

Вскоре после книжной публикации «Похождений Шипова» (1975) Окуджава скажет в интервью журналисту «Литературной газеты»: «...А третью вещь <“Путешествие дилетантов”> пишу не о “маленьком” человеке, а о представителе русской аристократии, но, думаю, по сути они все одинаковы. Он тоже “маленький” человек» [Окуджава, 1976, с. 3]. Автокомментарий освещает творческую перспективу вплоть до «Свидания с Бонапартом», где метафора «малости» распространена на героев *века богатырей* [Александрова, 2021, с. 318–332].

В мире Окуджавы *бедный плут*, ничтожнейший среди *малых сих*, заведомо не способный жить *по самым высшим законам*, все же «брат по племени людей» для совестливых и рефлексирующих [Окуджава, 2001, с. 268]. Эта истина транслируется через самого Шипова, когда его вранье о графе Толстом становится бескорыстным, детским: «Родственники мы, – заявил Михаил Иванович, – *братья*» [Окуджава, 1979, с. 440]. «Водевильная» повесть оттеняет дальнейшее – трагическое – развитие темы человеческого братства⁵ и является этапом созревания идеи, сформулированной автором «Путешествия дилетантов»: все люди живут «посреди трагедий, притворяющихся водевилями» [Окуджава, 1980, с. 424].

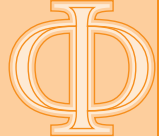
Выводы. Императив милосердия обусловил переосмысление исторического прототипа Шипова: личность презренная, хотя и «загадочно-интересная» (И. Ильинский), трансформируется в *бедного плута* (вариант «маленького человека»). Авторская этическая интенция реализуется в череде превращений Шипова, позволяющих ему искать защиты у самого Льва Толстого. Потенциал метафорического расширения, заключенный в понятии «маленький человек», дает ключ к художественной антропологии Окуджавы – единой основе всего его творчества.

Библиографический список

1. Александрова М.А. «Русская француженка» в романе Булата Окуджавы *Свидание с Бонапартом*: полемика с классиком // *Matica Srpska Journal of Slavic Studies*. 2023. No. 104. P. 307–328. URL: https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2023.104.15

⁵ Так, в «Свидании с Бонапартом» многообразно актуализируется тезис «Войны и мира»: «Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья» [Толстой 1940, с. 39]; см. об этом: [Александрова, 2021, с. 338–339; 2023, с. 307–328].

2. Александрова М.А. Творчество Булата Окуджавы и миф о «золотом веке»: монография. М.: Флинта, 2021. 592 с.
3. Белая Г.А. Литература в зеркале критики. Современные проблемы: монография. М.: Советский писатель, 1986. 368 с.
4. Бойко С.С. Творчество Булата Окуджавы и русская литература второй половины XX века: монография. М.: РГГУ, 2013. 602 с.
5. Гинзбург Л.Я. Литература в поисках реальности. Л.: Советский писатель, 1987. 400 с.
6. Гордин Я.А. Возможен ли роман о писателе? // Вопросы литературы. 1975. № 9. С. 190–210.
7. Золотусский И.П. Час выбора. М.: Современник, 1976. 319 с.
8. Ильинский И. Жандармский обыск в Ясной Поляне в 1862 г. По архивным и печатным материалам // Звенья. 1932. Кн. 1. С. 374–412.
9. Клепикова Е. Доказательство от обратного [Рец. на: Окуджава Б. Похождения Шипова, или Старинный водевиль. М., 1975] // Литературное обозрение. 1976. № 4. С. 35–37.
10. Кякшто Н.Н. Окуджава Булат Шалвович // Русские писатели, XX век: биобиблиогр. слов.: в 2 ч. / под ред. Н.Н. Скатова. М.: Просвещение, 1998. Ч. 2. С. 133–137.
11. Лотман Ю.М. О семиотике понятий «стыд» и «страх» в механизме культуры // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПБ, 2000. С. 664–666.
12. Лотман Ю.М. О Хлестакове // Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб.: Искусство-СПБ, 1997. С. 659–688.
13. Меженков Вл. Странная проза // Октябрь. 1972. № 7. С. 197–200.
14. Назаренко М. «Прогулки фрайеров»: историческая тетралогия Булата Окуджавы как целое (к постановке проблемы) // Голос надежды: Новое о Булате / сост. А.Е. Крылов. М.: Булат, 2008. Вып. 5. С. 401–424.
15. Окуджава Б. Далекое и близкое / Интервью вела И. Ришина // Литературная газета. 1976. 17 ноября. С. 3.
16. Окуджава Б. Двадцать писем другу. Письма к Л.А. Краваль 1960–1985 гг. / публ. и комм. А. Крылова // Голос надежды: Новое о Булате / сост. А.Е. Крылов. М.: Булат, 2008. Вып. 5. С. 162–183.
17. Окуджава Б. Избранная проза. М.: Известия, 1979. 510 с.
18. Окуджава Б. Путешествие дилетантов: из записок отставного поручика Амира-рана Амилахвари: роман. М.: Советский писатель, 1980. 543 с.
19. Окуджава Б. Стихотворения. СПб.: Академический проект, 2001. 712 с. (Новая библиотека поэта).
20. Оскоцкий В.Д. Роман и история (Традиции и новаторство советского исторического романа). М.: Художественная литература, 1980. 384 с.
21. Сонкина Ф.С. Юрий Лотман в моей жизни: Воспоминания. Дневники. Письма. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 416 с.



22. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1940. Т. 12. 431 с.
23. Хазагеров Г., Хазагерова С. Окуджава и аристократическая линия русской литературы // Голос надежды. Новое о Булате Окуджаве / сост. А.Е. Крылов. М.: Булат, 2005. Вып. 2. С. 298–312.
24. Хотимский Б. Поэт приходит в прозу // Окуджава Б. Избранная проза. М.: Известия, 1979. С. 493–505.
25. Цуркан А. Гоголевские традиции в повести Булата Окуджавы «Похождения Шипова, или Старинный водевиль» // Булат Окуджава: его круг, его век: материалы Второй международной научной конференции, 30 ноября – 2 декабря 2001 г., Переделкино. М.: Соль, 2004. С. 158–162.

Сведения об авторе

Александрова Мария Александровна – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник НИЛ «Фундаментальные и прикладные аспекты исследований культурной идентификации», Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова; e-mail: nam-s-toboi@mail.ru

DOI:10.24412/2587-7844-2024-3-53-69

POOR SCOUNDREL: TRANSFORMATION OF THE PROTOTYPE AND LITERARY MODELS UPDATING IN BULAT OKUDZHAVA'S STORY *THE ADVENTURES OF SHIPOV*

M.A. Aleksandrova (Nizhny Novgorod, Russia)

Abstract

Statement of the problem. Okudzhava's story, underestimated by the first generation of interpreters and rediscovered by modern literary criticism, is remarkable for the research as a work that emphasizes the issue of mercy for the fallen.

The purpose of the article is to analyze the correlation between the image of Shipov and the historical prototype and the literary type of the "little man" that is significant for the author; the above mentioned basis lets the author of the article point out the unique status of the leading character of the story in the artistic world of Okudzhava.

Review of the scientific literature on the problem. The opportunity to analyze the image according to the chosen perspective has been prepared by the works of E. Klepikova, A. Tsurkan, M. Nazarenko, S. Boyko, Yu. Lotman.

Methodology. The descriptive and hermeneutic method, and comparative analysis are used.

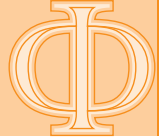
Research results. The author of the article shows that Okudzhava, who based the plot of the story on real facts related to Tolstoy, abandoned a number of features of the prototype of the leading character. This creative decision is due to the following principle: 1) symbolization of the marginalized person; 2) elevation of the tragedies of the scoundrel to the rank of universal human problems; 3) understanding of the deep "brotherly" bond between the antipodes – a great man and the one, who is the most insignificant. Recreating the phantasmagoria of the real circumstances of political surveillance of Leo Tolstoy, Okudzhava shifts attention from the harmful function of a secret agent to his own vulnerability from the state. The psychology of social inferiority inherent in the prototype is transformed into the little man's "longing" for haven in life.

Conclusions. The topic of mercy led to rethinking of the historical prototype of Shipov. The potential for expanding the concept of "little man" provides the key to Okudzhava's literary anthropology.

Keywords: *Bulat Okudzhava, grotesque, phantasmagoria, prototype, historical document, political surveillance of Leo Tolstoy, trickster, "little man", literary anthropology.*

References

1. Aleksandrova M. Bulat Okudzhava's creative work and the myth of the "golden age": monograph. Moscow: Publ. House "Flinta", 2021. 592 p.
2. Aleksandrova M. "Russian Frenchwoman" in Bulat Okudzhava's novel *Date with Bonaparte*: dispute with the classic writer // *Matica Srpska Journal of Slavic Studies*. 2023. No. 104. P. 307–328. URL: https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2023.104.15
3. Belaya G. Literature in the mirror of criticism. Modern problems: Monograph. Moscow: Publ. House "Soviet writer", 1989. 368 p.



4. Boyko S. Bulat Okudzhava's creative work and the Russian literature of the second half of the 20th century. Moscow: Publ. House RGGU, 2013. 602 p.
5. Ginzburg L. Literature in search of reality. Leningrad: Publ. House "Soviet writer", 1987. 400 p.
6. Gordin Ya. Is it possible to create a novel about a writer? // Questions of Literature. 1975. No. 9. P. 190–210.
7. Ilinskiy I. Gendarmerie search in Yasnaya Polyana in 1862 // Almanac "Zven'ya". 1932. Book 1. P. 374–412.
8. Khazagerov G., Khazagerova S. Okudzhava and the aristocratic tradition of Russian literature // Voice of Hope. New about Bulat Okudzhava / Comp. by A.E. Krylov. Moscow: Publ. House "Bulat", 2005. Iss. 2. P. 298–312.
9. Khotimskiy B. The poet becomes a prose writer // Okudzhava B. Selected prose works. Moscow: Publ. House "Izvestiya", 1979. P. 493–505.
10. Klepikova E. Proof to the contrary // Literary Review. 1976. No. 4. P. 35–37.
11. Kyakshto N. Okudzhava Bulat Shalvovich // Russian writers, 20th century: Biobibliographical dictionary: in 2 parts / Ed. by N. Skatov. Moscow: Publ. House "Education", 1998. P. 2. P. 133–137.
12. Lotman Yu. About Khlestakov // Lotman Yu. About Russian literature. St. Petersburg: Publ. House "Iskusstvo-SPB", 1997. P. 659–688.
13. Lotman Yu. About the semiotics of the concepts of "shame" and "fear" in the mechanism of culture // Lotman Yu. Semiosphere. St. Petersburg: Publ. House "Iskusstvo-SPB", 2000. P. 664–666.
14. Mezhenkov Vl. Strange fiction // October. 1972. No. 7. P. 197–200.
15. Nazarenko M. "Progulki frajyerov": Bulat Okudzhava's historical tetralogy as a whole (to pose the problem) // Voice of Hope. New about Bulat Okudzhava / Comp. by A.E. Krylov. Moscow: Bulat, 2008. Iss. 5. P. 401–424.
16. Okudzhava B. Far and near: Interview // Literary newspaper. 1976, November 17. P. 3.
17. Okudzhava B. Selected prose works. Moscow: Publ. House "Izvestiya", 1979. 510 p.
18. Okudzhava B. The Journey of Dilettantes: Novel. Moscow: Publ. House "Soviet writer", 1980. 543 p.
19. Okudzhava B. Poems. St. Petersburg: Humanitarian Agency "Academic project", 2001. 712 p.
20. Okudzhava B. Twenty letters to a friend. Letters to L.A. Craval 1960–1985 // Voice of Hope. New about Bulat Okudzhava / Comp. by A.E. Krylov. Moscow: Bulat, 2008. Iss. 5. P. 162–183.
21. Oskotskiy V. Novel and history. Moscow: Publ. House "Fiction", 1980. 364 p.
22. Sonkina F. Yuriy Lotman in my life: Memoirs. Diaries. Letters. Moscow: Publ. House "New Literary Review", 2016. 416 p.
23. Tolstoy L. Complete Works: In 90 vol. Moscow: Publ. House "Fiction", 1940. Vol. 12. 431 p.

24. Tsurkan A. Gogol's Traditions in Bulat Okudzhava's Story "Adventures of Shipov, or Ancient Vaudeville" // Bulat Okudzhava: his circle, his century: Proceedings of the Second International Scientific Conference, November 30 – December 2, 2001, Peredelkino. Moscow: Publ. House "Sol", 2004. P. 158–162.
25. Zolotusskiy I. Hour of choice. Moscow: Publ. House "Contemporary", 1976. 319 p.

About the author

Aleksandrova, Maria A. – DSc (Philology), Leading Researcher, Linguistics University of Nizhny Novgorod (LUNN) (Nizhny Novgorod, Russia);
e-mail: nam-s-toboi@mail.ru